

В. П. Казарин, М. А. Новикова

Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского

**«... РОВНО ДЕСЯТЬ ЛЕТ ХОДИЛА / ПОД НАГАНОМ»
(А. А. АХМАТОВА-ГОРЕНКО И СЭР ИСАЙЯ БЁРЛИН)**

Розвідка продовжує цикл публікацій авторів, що їх присвячено реальному та поетологічному коментареві текстів Анни (Ганни) Ахматової-Горенко (1889–1966), однієї з провідних фігур європейської літератури та культури ХХ сторіччя. Тексти пов'язано з трагічними подіями ахматовської біографії 1940–1950-х років, у тому числі тими, які, на думку поета, було спровоковано її контактами з відомим британським ученим гебрійського походження, філософом і істориком сером Ісаєю Бьорлінім. На матеріалі ахматівських текстів, які ще не привертали особливої уваги дослідників, автори зробили спробу виявити і/або реконструювати масштаби ахматівського художнього мислення.

Ключові слова: Анна (Ганна) Ахматова-Горенко (1889–1966), європейська література ХХ сторіччя, 1940–1950-ті роки, біографія, сер Ісаїя Бьорлін, реальний та поетологічний коментар.

Статья продолжает цикл публикаций авторов, посвящённых реальному и поэтологическому комментарию текстов Анны Ахматовой-Горенко (1889–1966), одной из ключевых фигур европейской литературы и культуры ХХ столетия. Тексты связаны с трагическими событиями в ахматовской биографии 1940–1950-х годов, в том числе теми, которые были, по мнению поэта, спровоцированы её контактами с известным британским учёным еврейского происхождения, философом и историком

сэром Исайей Бёрлиным. На материале ахматовских текстов, не привлекавших доныне особого внимания исследователей, авторы попытались обнаружить и/или реконструировать масштабы ахматовского художественного мышления.

Ключевые слова: Анна Ахматова-Горенко (1889–1966), европейская литература XX века, 1940–1950-е годы, биография, сэра Исаяя Бёрлин, реальный и поэтологический комментарий.

The paper belongs to a series of the authors' publications containing referential and poetological comments on lyrical texts by Anna Akhmatova-Gorenko (1889–1966), one of most influential poets in the European literature and culture-XX. Her texts have been inspired by tragic events in her biography of the 1940-ties and the 1950-ties. After Akhmatova, these events have been provoked by her contacts with the famed British-Jewish philosopher and historian sir Isaiah Berlin. As a textual background memoirs and epistolary works of Berlin were analyzed as well as notes, oral "stories" of Akhmatova herself and/or her contemporaries. In Akhmatova's world picture two approaches which are considered incompatible are nevertheless of equal value. The one is a historical, practically documental and the other – mythopoeia, "cosmic", metaphysical. The article proposes the authors' certainty that myth poeticism, mystery, prophecy and globalism in life experience, feeling and evaluation is a natural characteristic of natural genius-creators, those who are working on the borderlands between text creation and life building.

Keywords: Anna Akhmatova-Gorenko (1889–1966), the European literature of the XXth century, the 1940-ties and the 1950-ties, biography, sir Isaiah Berlin, realia comments, in-depth poetological analysis.

Прелиминари: В серии предшествующих публикаций¹ [2–6] авторы настоящей статьи задались целью дать реальный и поэтологический комментарий к некоторым стихам Анны Ахматовой-Горенко (далее сокращённо. – А. А.). Тексты связаны с наиболее трагическими событиями ахматовской биографии – сначала 1910–1920-х, а затем и 1940–1950-х годов.

Цель данной статьи остаётся прежней, но в фокус внимания на сей раз взято поэтическое отображение контактов А. А. с известным британским философом и историком сэром Исайей Бёрлиным (далее сокращённо. – И. Б.). В качестве фоновых текстов привлекались также мемуары и эпистолярный И. Б., заметки, устные «истории» как самой Ахматовой-Горенко, так и её современников и/или соотечественников интересующего нас периода.

Встречи А. А. с И. Б. произошли в Ленинграде в самом начале послевоенного времени – осенью 1945 (первая) и зимой 1946 (последняя) годов. Инициатором визита к А. А. на дом выступил, собственно говоря, не И. Б. – тогда первый секретарь Британского посольства в Москве, занимавшийся анализом общественных настроений в СССР, в первую очередь в кругах интеллектуальной элиты. Рвался к поэту другой гость – военный разведчик, а после войны журналист, сын известного политика сэра Уинстона Л. С. Черчилля – Рэндольф Черчилль. Подробности их посещения исследованы и описаны уже неоднократно [7]. Нас сейчас интересует только диалог Ахматовой – Бёрлина и его отображение в ахматовской поэзии и документалистике.

Для начала приведём ахматовские поэтические строки из «Поэмы без героя», безусловно, адресованные И. Б.

¹ См.: Казарин В. П. Стихотворение А. А. Ахматовой «Вновь подарен мне дремотой...»: (Опыты реального комментария). Публикация 1 / В. П. Казарин, М. А. Новикова // Сайт «Пушкин. Крым» (pushkin.daportal.org). – 31.08.2012; Казарин В. П. Стихотворение А. А. Ахматовой «Вновь подарен мне дремотой...»: (Опыты реального комментария). Публикация 2 / В. П. Казарин, М. А. Новикова // Південний архів : збірник наукових праць. – Вип. LV (55). – Херсон : ХДУ, 2012. – С. 50–57; Казарин В. П. Стихотворение А. А. Ахматовой «Вновь подарен мне дремотой...»: (Опыты реального комментария). Публикация 3 / В. П. Казарин, М. А. Новикова // Сайт «Бахчисарайский историко-культурный заповедник» (bikz.org). – 06.06.2013.

Вернёмся, однако, к строкам А. А. – к их обоим фрагментам, хронотопным и персонажным меткам. Это документальные строки («ровно десять лет»). Это историко-стилистические реалии («наган» – ср. «пистолет»; «чистоган» – ср. «наличные»). Это, наконец, предметная реалия («сигара»). С неё начиная, и приступим к комментарию.

Сигара. Ни один из мужских персонажей ахматовской интимной лирики (или их реальных прототипов) курить сигару в ахматовских текстах не мог. В 1910–1920-е годы не мог потому, что сигара – деталь, ассоциировавшаяся с «буржуазным» бытом; позже – потому, что сигары вообще исчезли из «советского» употребления. Сталин накрепко ассоциировался в советских умах с курительной трубкой. Были даже стихи для детей о «голубом колечке» дыма, летящем из трубки из Кремля надо всей Советской страной. По этому колечку с утра советские люди узнают, что Сталин встал раньше каждого из них и уже трудится во имя их благополучия (Н. Незлобин, «Колечко»).

Зато сигара в первую очередь отсылает ко вполне определённом, притом всемирно известному в 1930–1950-е годы персонажу – британскому премьеру Черчиллю. Именно его сын, посещая Ленинград в 1945–1946 годах, буквально затащил к Ахматовой (которую он жаждал увидеть) своего спутника Исая Бёрлина. Тогда ещё не «сэра», но уже известного британского философа и историка, знакомого многих русских эмигрантов первой волны. Курил ли Бёрлин, как и Черчилль, сигары – не столь важно (хотя есть указание, что курил [7, с. 43, 70]). Важнее то, что сам он позднее признавал – эта деталь «указывает на меня в той или иной степени» [16, с. 21]. А. А. нигде не назовёт его в стихах по имени или по фамилии, а если бы и назвала – для её соотечественников в СССР (не в эмиграции) имя это ничего бы не значило.

Значило другое. Зеркальный зал с сияющим паркетом (отсылка к реальному Фонтанному Дому). Сигара с синим дымком. Бал-маскарад с кузминской Коломбиной и с булгаковским «Владыкой мрака»... Все они, вместе взятые, создают единое мифопространство, где отсутствующие присутствуют, а живые встречаются с мёртвыми. Где Новый год длится сначала без малого тридцать лет (1913–1941), потом тридцать три года (1913–1946), а затем ещё «ровно десять лет» (до года 1956-го).

Сама эта – поэтом запечатлённая – атмосфера веселья над бездной (накануне Первой мировой войны – накануне Второй мировой – накануне Третьей мировой «холодной» войны, открывшейся Фултонской речью Черчилля-отца) резонирует послевоенным упованиям 1945–1946-го на «демократизацию общества», на «расширение контактов» с границей, вообще – на новую светлую жизнь. Тем упованиям, которые запечатлены и в мемуарах К. Симонова, и в письмах Б. Пастернака, и в массовых киноутопиях 1940-х, типа «Весны» или «Кубанских казаков».

Обратимся теперь к реалиям ахматовского 8-стишия и посмотрим, как поэт с ними работает.

Наган. Здесь не место для развёрнутых экскурсов в историю стрелкового оружия. Однако даже те читатели, кого история оружия не слишком интересует (зато интересует история литературы), ощущают, что «наган» вяжется, скорее, с Гражданской войной и ЧК (Чрезвычайной Комиссией) Ф. Э. Держинского, нежели с годами 1940 – 1950-ми и НКВД (плавню перетекшим в МГБ, а потом также плавню перетекшим в КГБ).

Словарные источники [9–12] сообщают нам, что среди множества систем револьверов, существовавших в конце XIX века (Смит-Вессона, Пипера, Мосина и других), наибольшего признания добился револьвер, разработанный в 1895 году по заказу Российской империи бельгийским оружейником Леоном Наганом и принятый на вооружение русской армии. Уже к началу Первой мировой войны было выпущено без малого 450 000 револьверов «наган», за 1914–1917

годы их было дополнительно произведено ещё почти 475 000 штук. Во время Гражданской войны этот арсенал снова пополнился более чем на 175 000 револьверов. Понятно, что «наган» стал одним из символов «русского лихолетья». По популярности с ним мог соревноваться разве что немецкий самозарядный пистолет «маузер», разработанный в том же 1895 году и выпущенный в количестве 1 000 000 экземпляров. Именно «маузеру», как мы помним, предлагал «дать слово» В. В. Маяковский, что породило популярную советскую шутку: «Как дали ему слово, так до сих пор он и говорит».

Вывод можно сделать такой. Люди с «наганом» запомнились Ахматовой, видимо, ещё со времён революционного Петрограда, когда их было так много вокруг. Что же касается сотрудников в форме НКВД-МГБ-КГБ (притом со служебным оружием, которым уже стал отечественный пистолет конструкции Токарева – ТТ), то поэт в 1940–1950-е годы открыто их рядом с собой не встречала. Времена стали другие, по городу сотрудники спецорганов чаще ходили в штатском. Подобно случаю с «Либавой», стихи А. А. сохранили не саму реалию прошлого (этот город уже при её жизни сделался литовским Лиенае), сколько память о ней. И память не столько о реалии, сколько об атмосфере, которая когда-то её окружала.

В этом смысле «наган» и сэр Исайя Бёрлин сочетаются в мифопоэтическом мире А. А. как следствие и причина. А. А. «ходила под наганом» потому, что за 10 лет до этого она встретила «агента иностранного влияния» и проговорила с ним у себя дома несколько ночей. А значит, и «наган», и сэра Бёрлина – История-Миф вписала в единый мифосюжет. Следовательно, оба они исполняют ту же мифогенерирующую функцию и имеют тот же историко-мифологический возраст.

«Ровно десять лет». Ахматовское пристрастие к нумерологии, к точным числам (фиксирующим наиболее значимые вещи, «времена и сроки», встречи и «не-встречи») критики заметили давно. Ещё в 1918 году эту настойчивую нумерологизацию подметил Д. П. Якубович [13, с. 139]. Но и в 2010 году аналогичную нумерологизацию, только в датировках ахматовских текстов, заметит Л. Г. Кихней. Заметит – и объяснит: числа у А. А. исполняли сразу несколько функций. И меморативную, и «объединяющую», циклизирующую лирические тексты (даже фрагменты текстов, наподобие цитированных отрывков с «наганом» или с «анафемой»). А циклизация превращает эти осколки лирики в особый, лирический эпос. И, наконец, числа реализуют у А. А. ещё и функцию «шифровальную», «самый потаённый уровень кодирования» смысла – то, что сама Ахматова-Горенко назовёт «третьим дном» своей поэтической шкатулки [14, с. 120].

К перечисленным функциям можно прибавить, как минимум, две: прогностическую («пророческую») и мифогенную.

В рабочих записях А. А. выстраивает столбец из совпадающих дат смерти (или её, смерти, дуновений): дата смертного приговора Данте (10.03.1321), эта же дата – смерти Е. Замятина (10.03.1937), ареста сына Ахматовой – Л. Гумилёва (10.03.1938), смерти М. Булгакова (10.03.1940). В этот ряд позднее поразительным образом впишется дата посмертного отпевания самой А. А. (10.03.1966) [14, с. 121].

Мифогенная функция чисел как раз с этого у А. А. и начиналась: с того, что «просто» числа превращались в числа-символы. Возможно ли такое превращение для десятки? Безусловно, возможно – от времён фольклорных до времён тоталитарных. В сборнике «Чётки» (1914) сама А. А. назовёт начальную пору своей личной и творческой биографии «десять лет замираний и криков» [1, т. 1, с. 116]. От фольклора славянского до нас дошли магические формулы, типа «в тридесятом царстве» (то есть бесконечно далеко – магическое пространство, куда заговоры изгоняют беды и болезни). Или единица исчисления монгольских войск – десять тысяч, «тумен», – превратившаяся у русичей в «тьму тьмущую»: единицу неисчислимого, полчище врагов как космическое нашествие сил тьмы.

От сталинского режима (намного его пережив) дошёл не менее магический счёт на пятилетки (полудесятки): «пятилетки индустриализации» и «коллективизации», «решающие» и «завершающие». В этот же ряд магических «времен и сроков» следует поставить так называемые декады – 10-дневки. Они, в основном, приходились на сферу литературы и искусства союзных и автономных республик. Попутно эти же магические сроки помогали решать острейший для полиэтничного государства вопрос – национальный. На долю А. А., например, выпало 45 таких декад (1935–1966 гг.).

А ведь были ещё более громкие события «искусства и литературы», которые также подчинялись 5-ричному и 10-ричному счёту. То были – юбилеи.

Вспомним их размах. «Постановления» партии и правительства. Оргкомитеты, совещания и собрания. Статьи в партийной и государственной прессе. Доклады – и не всегда литературоведов о писателях, искусствоведа о художниках. Делали доклады и министры, и партийные секретари. А по мере того, как юбилей спускался по номенклатурным ступеням, – делали доклады и директора, и инструкторы (по-современному, референты)...

19 октября 1965 года А. А. (несомненно, в свете её собственной – международной! – премии и зарубежного почётного доктората), – сделала доклад на 700-летнем юбилее Данте в Москве. В Большом театре СССР. В присутствии высокой «советской» номенклатуры и итальянского дипкорпуса. Не будучи ни «амнистированной», ни – тем паче – «реабилитированной» от Постановления 1946 года.

Таковых юбилеев (от Низами до Горького) А. А. пережила целых двенадцать.

«Ни налево, ни направо / Не глядела». А. А. любила поэтические автопортреты. Из её стихов читатель сможет многое узнать о её руках и о её перчатках – и перепутанных, надетых с левой руки на правую; и о театральных, «до самого локтя». О её стройной фигуре (и «узкой юбке», в которой та казалась «ещё стройней»). О плечах и груди (которые ей герой «напрасно» и «бережно» кутает «в меха»). И о царственном взгляде («в пол-оборота», напишет о нём О. Мандельштам), и о шали («ложноклассической», скажет он же).

Что же означает на фоне этих портретных деталей приведённое двестишестое? Куда может «глядеть» героиня А. А. – на ходу! – если она не глядит «ни налево, ни направо»?

«Не глядеть» по сторонам на ходу возможно только в двух случаях: если говорящий смотрит себе под ноги или прямо перед собой. Смотреть под ноги

А. А. не умела никогда. На этом наблюдении сходятся все мемуаристы. Смотреть прямо перед собой идущая может, если её ведут под руку, – как ведут не только галантные мужчины своих дам, но и представители «силовых структур» своих арестантов. А в этих кругах среди конвоиров издавна существует неписанное правило (многократно при этом описанное в литературе), что при транспортировке «живого груза» шаг вправо или шаг влево – приравниваются к побегу, попытка которого даёт право открывать стрельбу на поражение.

Есть ещё одна мизансцена, отвечающая ахматовскому двестишестию. Не глядит «ни налево, ни направо» человек, проходящий сквозь строй. Не обязательно сквозь шпиретуты. Пройти сквозь строй улюлюкающих, оскорбляющих, да просто угрюмо или угрожающе молчащих – тоже испытание, ко взглядам по сторонам не располагающее.

Откуда же явилась к А. А. эта «живая картина»? Источники могли быть разными. Рассказы арестованных и «каторжан» 1930-х, вернувшихся как раз в конце 1950-х (разумеется, тех, кто выжил). Рассказы «космополитов» конца 1940-х, кому на рынке (как «агентам империализма») не продавали продуктов. В конце концов (а для А. А. – в начале начал), память Гражданской войны.

Когда-то перепутанные перчатки в ранней лирике Ахматовой-Горенко символизировали перепутавшийся, обезумевший любовный мир молодого поэта. Те-

перь это мир, где левая и правая (т. е. «неправильная» и «правильная») стороны отняты у самого Мироздания.

В поздних стихах А. А. признавалась, что, возможно, давно уже лежит – живьём в могиле («... я в гостях у смерти / Была так долго и так много раз» [1, т. 2, кн. 2, с. 67]; «она была со мной в моей могиле» [1, т. 2, кн. 2, с. 200]). Экспромт о наганае – взгляд примерно с той же оптической (и лирической!) позиции.

«А за мной худая слава / Шелестела». Это двустипшие (как представляется поначалу) ни в каких комментариях не нуждается. Его смысл вроде бы откомментирован другим фрагментом А. А. – о «грозной анафеме», которая «гудит» («Это и не старо, и не ново...») [1, т. 2, кн. 2, с. 34].

Но как раз сопоставление этих двух фрагментов наводит на вопросы, требующие комментариев.

1. За мной; 1. От Либавы до Владивостока;
2. Шелестела; 2. Гудит;
3. Слава; 3. Анафема;
4. Худая. 4. Грозная.

Сразу же становится очевидным: фрагменты говорят не об одном и том же. Второй фрагмент повествует о том, как ширится Постановление – прежде всего, через вузы и школы, где его «проходили» и «сдавали» ежегодно, вплоть до 1988 года (!). Оттого так огромно пространство, на котором оно «гудит». Оттого же так глубоко скрыты в нем аллюзии на ещё двух «анафематствованных» спутников А. А.: на Н. С. Гумилёва (Либава) – и на О. Э. Мандельштама (Владивосток).

Н. С. Гумилёва с Либавой (именно с Либавой, хотя во время написания второго фрагмента она уже давно носит имя Либае!) связывает известная развязка в начале июля 1914 года их короткого романа с Т. В. Адамович, о чём знала А. А.² [15, с. 96].

Другой из двух авторов данной статьи, проживая в начале 1970-х годов во Владивостоке, специально занимался разысканием «дома скорби» на Второй речке, где окончил свои дни ссыльный О. Э. Мандельштам, и адресом его последнего упокоения, для чего даже ездил в Москву, чтобы встретиться с Н. Я. Мандельштам.

Т. е. второй фрагмент и вправду насыщен реалиями. Все они прежде всего историчны – и лишь потом мифопоэтичны.

В первом фрагменте всё наоборот. Реалий – формально – в нём нет вовсе, зато сплошь идут символы. Такова здесь даже фоника: змеиная, шипящая глухими согласными (Х – С – Ш – СТ). Это шёпоты литературной «черни», смакующей «блудные» обвинения, сплетничающей у поэта за спиной.

Отсюда и разное жанровое определение: грозная «анафема» – и худая «слава».

Со времён Киевской Руси язык русичей разграничивал то, что сегодня представляется нам почти синонимами. Рыцарский кодекс славян гласил: «Ищи себе чести, а князю славы». Князь – начальник, должностное лицо; ему приличествует «слава» – оценка его деяний внешняя, а потому изменчивая и зачастую амбивалентная. «Честь» – состояние внутреннее, его нужно «беречь» каждому человеку, притом всю жизнь и «смолоду». Честь может быть только позитивной. Слава способна быть и правдивой, и ложной, и доброй (хорошей), и худой (плохой, – как в строке А. А.).

Распространителей такой «славы» героиня А. А. видеть не хочет, даже проходя сквозь их сплетни, как сквозь строй. Но не слышать их она не может. Для 1946–1956 годов они служат и напоминанием от «верхов», и предвкусением «черни», и

²Ранее нами было высказано предположение о возможной связи Либавы с другим «спутником» А. А. Ахматовой. – М. Л. Лозинским. См.: [6].

нахлынувшим авторским переживанием «нагана» – воплощение ужаса и насилия Гражданской войны.

Если вслушаться в ахматовское восьмистишие, оно, помимо слов, красноречиво самой своей интонацией.

Сперва Её, лирическую героиню, переполняет человеческая – и женская – обида. Она предъявляет Ему, лирическому герою, счёт: «За тебя я заплатила / Чистоганом <...>». Обида сказывается уже в том, что Она переходит здесь (и дальше) на язык не свой, не Его, а «их»: циничных службистов-чужаков. Это на их криминально-чиновничьем жаргоне «платят чистоганом» и «ходят под» следствием (или пуще того – «под наганом»); это в их обиходе обсуждаются сроки «отсидки» и «ходки», а «ровно десять лет» (без права переписки?) имеют уже к «нагану» прямое отношение.

Как саркастически-элегантно звучат в подобном контексте шаги «по сияющему паркету», пахнет – «сигары синий дымок», смотрится – отраженье «во всех зеркалах» дворцового «зала»! А ведь отразился в них тот, кто «не появился» в 1940 году, зато появился в году 1945-м, а «проникнуть» к А. А. «не мог» в году 1956-м...

Эта «невстреча» была увидена (и осмыслена) с двух противоположных сторон: Её – и Его. А. А. пересказала «Люке» (Лидии Корнеевне) Чуковской, своей надёжной confidentке, телефонный разговор с сэром Исайей Бёрлиным. Тот снова приехал в СССР, на сей раз уже в период «оттепели», в 1956 году, и позвонил А. А.

«Один господин <...> позвонил мне по телефону и был весьма удивлён, когда я отказалась с ним встретиться. Хотя, мне кажется, мог бы и сам догадаться, что *после всего* (интонация А. А. выделена Л. Ч. – Авт.) я не посмею снова рискнуть... (многоточие принадлежит Л. Ч. – видимо, А. А. сделала здесь паузу. – Авт.). Сообщи мне интересную новость: (сколько величия, выдержки и яда! – Авт.) он женился только в прошлом году (т.е. через 10 лет – «ровно десять лет»! – после встречи с А. А. – Авт.). Подумайте, какая учтивость относительно меня: *только!* (А. А. цитирует-передразнивает. – Авт.) Поздравление я нашла слишком пресной формулой для данного случая (обратим внимание: А. А. становится от ярости любезно-ледяной; способная на одесский жаргон, на лихие мемуары-«пластинки», она переходит на подчёркнуто книжный и старомодный стиль. – Авт.). Я сказала: «вот и хорошо!» (а это уже удар. – Авт.), на что он ответил... (резкий обрыв. – Авт.) ну, не стану вам пересказывать, что он ответил... » [8, с. 226; запись Л. К. Чуковской от 23.08.1956].

А вот тот же телефонный диалог в пересказе Его, «Гостя из будущего», за кого «заплачено чистоганом», из-за кого «десять лет» Она «ходила под наганом» и подверглась всесоюзной «анафеме». Он пересказывает этот диалог лондонскому корреспонденту советского Гостелерадио В. Шишковскому в 1989 году. Уже четверть века, как нет в живых Её; уже 45 лет прошло после их первой – и последней – встречи. Но тайный жар того события продолжает жечь.

«– Я ей позвонил. (Напомним: позвонил в августе 1956 года. – Авт.) Она сказала: «Вы?..» (Через десять лет разлуки, с первой «Его» фразы, простого приветствия, «Она» узнаёт этот голос. – Авт.) Я говорю: «Да». (Ему, очевидно, тоже нелегко говорить. – Авт.) Она сказала: «Пастернак мне сказал, что Вы женаты». Я сказал: «Это так». «Когда Вы женились?» – «В этом году». Длинное молчание» [16, с. 14].

Заметим разницу: насколько насыщен подтекстами Её пересказ – и насколько пересказ Его лишён каких бы то ни было подтекстов и комментариев. (Комментарий будет, но в конце.)

«Длинное молчание. Потом: «Ну что же я могу сказать? (Несмотря на эмоции, А. А. не забыла, что в таких случаях говорить «положено». Но сказать,

«как положено», она не в силах. – Авт.) Поздравляю!» – очень холодным голосом. (Сэр Исайя тоже человек воспитанный; он тоже помнил (по-британски!), «как» говорить в данном случае «положено». «Крещенский холод» в реплике А. А. звучит для него нарочито: Она явно хочет Его задеть. Но Он не поддается. – Авт.) Я ничего не сказал. Потом (то есть после выжидательной паузы. – Авт.) она мне сказала: «Ну что ж. (Его молчание Она тоже прочитала как нарочитое. Плюс – как ожидание приглашения к ней домой. – Авт.) Встретиться с Вами я не могу, видите ли...» (На Его слух, Она опять – ещё больней – хочет обидеть собеседника. Но по интонации – Она оправдывается. – Авт.) – и она мне кое-как объяснила. (Сэр Исайя – учёный, однако его «кое-как» стоит томов «художественной», «психологической» прозы. Наконец-то Она вспомнила, что Её телефон прослушивался. Сама А. А. была уверена, что прослушиваются – теми или иными способами – все её разговоры: и телефонные, и просто комнатные... Здесь Он наконец уловил, насколько Она потрясена Его звонком. Вряд ли сэр Исайя – даже теперь – догадывается, после *каких* десяти лет «невстречи» они сейчас разговаривают, – и как невозможно это «объяснить». – Авт.) Я сказал: «Я Вас понимаю». (Похоже, в этот миг Она окончательно поняла, насколько Он Её не понимал – ни 10 лет назад, ни 10 лет спустя. – Авт.)

А. А. стремительно меняет тему: она переводит стихи с корейского, её переводы скоро выйдут. «Вы представляете, насколько я знаю корейский». – «Я понимаю, да». Далее Он говорит, что хотел бы прочесть её переводы. Она обещает их прислать. (Сколько облегчения в этой смене темы. – Авт.) После чего А. А. спрашивает снова: «Значит Вы женились... Да...». Конец разговора. Я понял, что совершил преступление <...>» [16, с. 14].

Это конец разговора, но не множащихся комментариев сэра Исайи. Вот интервью М. Игнатьеву: «<...> это был миф, она была трагической королевой и сожгла себя на погребальном костре. Я, без сомнения, обидел её, я отрицал (порусски правильнее было бы «отверг». – Авт.) свои обязанности, но я в самом деле оставил её. Как и Эней Дидону...» [16, с. 14, 15].

Для обоих, как выяснилось, прошлое отнюдь не прошло. Оба обижены на Другого (Другую); оба не хотят (или не могут) играть чужую для себя роль: приветливого друга и благовоспитанной дамы (или мужчины).

Для мифа бесполезно уточнять: так кто же из двоих был «весьма удивлён», Он или Она? Кому следовало сразу же и наотрез отказаться от встречи, а кому от поисков объяснения? Кому поздравить с браком означало поздравить с изменой, а кто всё же поздравил, но «очень холодным голосом»? На чьём «погребальном костре» сожгла себя «трагическая королева»? (Выскажем осторожное предположение, что в понимании А. А. скрытая в этих формулах аллюзия может отсылать не только к уже отмеченным в литературе сюжетам Дидоны и Марии Стюарт, но и к мифу Брунгильды и Зигфрида, возможно, опосредованного оперой «Валькирия» Рихарда Вагнера. Вторая часть тетралогии «Кольцо Нибелунгов» была впервые поставлена в СССР в Большом театре Сергеем Эйзенштейном в 1940 году – **незадолго** до времени действия «Поэмы без героя», её «новогоднего» эпизода.) Кто не погиб, хотя обязан был погибнуть? Как Недоброво. Как Гумилев. Как Мандельштам. Как Модильяни. Как Пунин.

Даже корейская тема носит мифологизирующий оттенок. Она не жалуется на денежные трудности. (А ведь, исключенная в 1946 году из Союза писателей, Она автоматически лишилась и возможности печататься в «писательских» издательствах Ленинграда и Москвы, и права получать «писательскую» пенсию, последнее, правда, ненадолго.) Но Она символически даёт Ему понять, что от хорошей жизни поэты с «неизвестного» языка не переводят.

Это так. Однако есть у медали с корейскими переводами и обратная сторона. Подстрочники Ей составляли и с оригиналами Её знакомили крупнейшие

ленинградские специалисты по классическим литературам Дальнего Востока. И книга переводов с корейского выходила у Неё к 1956 году уже не первая. И Емю ли, жившему в Англии, с Оксфордом и его библиографической службой под боком, было о том не знать, если, конечно, Он следил за Её библиографией...

С другой стороны, новость о женитьбе сэра Исаяи Б. Пастернак узнал на даче в Переделкино, под Москвой, куда сэр Исаяя приехал к нему со своей женой. Со свойственным ему умением поступать невпопад, Б.П. тут же передал эту новость А. А. Так оттого ли А. А. отказалась от встречи, что «не посмела» рискнуть «после *всего*»? (Как тяжело звучит – выделенное курсивом внимательной Л. К. Чуковской – это слово! – Авт.) Или, понявши Его, не понявшего Её, услышав *не те* слова, каких ожидала, Она отказалась от «не-своего» сюжета – точно так же, как отказался от «не-своего» сюжета и Он?

Брунгильда, с которой мы сопоставили Ахматову-Горенко, – фигура в германском эпосе особенная. Она любимица самого таинственного, самого шаманистского из германских богов – Одина. Она – вещая дева, валькирия, но притом валькирия строптивая, нарушившая волю Одина, за что и была погружена им в магический сон на вершине горы за оградой из огненных щитов. Легко увидеть, как близка подобная характеристика той, которую дал юной Анне Н. С. Гумилёв: «жена-колдунья». И попытки «приручить» её талант, и вереница мужчин, желавших сделать из неё «нормальную» спутницу, и «мнимость» её браков, и долгое оцепенение-сон, в которое она была ввергнута после отъезда многих её друзей (по сути – всего её «серебряного» мира) в эмиграцию или их уничтожения в период Гражданской войны и репрессий, – все эти подробности биографии мифо-эпической германской королевы без труда накладываются на лиро-эпическую русскую художницу с украинскими (и польскими, и тюркскими) корнями. И тот факт, что Брунгильда ни разу не упомянута в наследии А. А., как и отсутствие в позднем творчестве поэта записей о Ф. Ницше или З. Фрейде [1, т. 2, кн. 2, с. 301], сами по себе совсем не свидетельствуют об отсутствии у неё интереса к вещи деве-воительнице или о прекращении многолетнего внутреннего диалога с мыслителями германского мира, когда-то начавшегося, по признанию самой А. А., под влиянием Н. С. Гумилёва [1, т. 2, кн. 2, с. 301]. После Второй мировой войны такой интерес и такие диалоги со многими персонажами надолго стали невозможными.

Об эпичности А. А. исследователи упоминали часто. Однако оценивали это её свойство (на наш взгляд) скорее как особенность чисто поэтологическую, нежели мировидческую. Но равновеликая тяга А. А. и к истории, и к мифу, – но масштаб её жизненной, не только поэтической оптики («от Либавы до Владивостока»), – но постоянная потребность включать себя не в одни лишь воображаемые, а и в реальные события и «легендарного», и «календарного» времени, – свидетельствуют: А. А. ощущала себя внутри трагического мифо-эпоса не только как поэт, но (говоря по Пушкински) как «частичка бытия»: как человек, женщина, друг, жена, мать.

Следовательно, учитывать подобное качество ахматовского мировидения и самоощущения обязаны и ахматовские комментаторы.

Распространяется ли это требование на «бёрлиновский» сюжет ахматовской биографии? Безусловно, и не просто распространяется.

Если замкнуть встречи-невстречи сэра Исаяи и Анны Андреевны сугубо лирическими рамками, добавить к установленному останется немало. Но не самое главное. Уже открыты (хотя и не полностью) архивы репрессивных служб, созданы (хотя и не завершены) новейшие отечественные и зарубежные жизнеописания А. А., опубликована (хотя далеко не вся прокомментирована) переписка И. Б. с русскими эмигрантами, знавшими А. А. или её друзей ещё до 1917 года. Все эти дополнительные источники оставляют, конечно, пробелы для реинтерпретаций (и реконструкций) диалога Ахматовой – Бёрлина.

Однако речь сейчас идёт о новых возможностях при изменении самого подхода. Поэтической фантазией счёл строки А. А. о «нагане» Павел Антокольский. Мифомышление разгадал в них сэр Исая Бёрлин. Кстати, по-человечески можно понять обиду обоих участников этого сюжета. Обиду Её – на Него, недовыполнившего роль героя; обиду Его – на саму обязанность играть какую-то роль. Но в координатах мифа (не женской фантазии!) обижаться обоим было не на кого.

Размышляя о том, почему так трудно определялись заглавие и жанр «Поэмы без героя», А. А. вспоминала, как «рвалась» её поэма от замыслов автора «куда-то в темноту, <...> в петербургскую историю от Петра (то есть от самого начала российского Нового времени. – Авт.) до осады 1941–1944 гг. (то есть до кульминации ахматовского XX века. – Авт.), или, вернее, в петербургский миф» [1, т. 3, с. 222].

Здесь для исследователя каждое слово драгоценно. И устремлённость к первоначалам. (Ср. как «рвётся» молодая А. А. в кульминационный момент её «серебряного» периода – рождение сына в 1912 году – к самому началу своего мира – к «дикой девочке», «последней херсонидке» [1, т. 1, с. 117; 4].) И то, что история для А. А. – это «темнота», куда её личный сюжет рвётся как бы наощупь. (Ср. «царство тени», куда рвался сюжет другой встречи-прощания, в бахчисарайском стихотворении А. А. 1916 года [1, т. 1, с. 275; 2].) И переживание любого эпизода истории всей «свежестью чувств» на малых лирических площадках; зато далее «зренья острота» на больших эпических дистанциях. И постоянное наложение своих начал на свои концы (по цитате А. А. из Т. С. Элиота: «В моём начале мой конец» [1, т. 3, с. 190]), – наложение, которое рождало у окружающих чувство ахматовской пророчественности, ясновидения.

Сэр Исая неоднократно – к чести его – писал о сокрушительном впечатлении, какое произвели на него беседы (ночные и долгие) с А. А. в 1945–1946 годах. При всём личном обаянии Её, – при всей интеллектуальной (да и человеческой) незаурядности Его, – думается, всё-таки не одна только «лирика», а именно «эпос», не одна лишь «хроника», а именно «миф» так поразили Её гостя. И подобно тому, как в год 1940-й Он пришёл не просто гостем, но «Гостем из будущего», – какое-то будущее должно было (согласно мифомышлению) просвечивать в их встречах 1945–1946-го годов.

Так появилась у авторов настоящей статьи «Фултонская гипотеза». Так стала вырисовываться и вторая гипотеза, тоже помогающая реконструировать содержание и воздух тех послевоенных встреч, – гипотеза «Дальневосточная».

Фултонская гипотеза. Поскольку нами она уже высказывалась [6], есть резон обсудить её первой.

Сэр Исая, пересмешник и автоиронист, проявил немалую интуицию, когда сформулировал, в каком ключе, по его мнению, истолковала А. А. их встречи. Развернём это мнение вширь.

1) А. А. отказалась признавать какую бы то ни было бытовую интерпретацию этих встреч. (Включая ответы на вопрос, и поныне очень интересующий ахматологов, а иногда и ахматоведов: «А если это <была> любовь?»). 2) А. А. связывала последствия названных встреч не только с собственными политическими драмами («анафемой» – Постановлением 1946 года), но и – ни много, ни мало – с началом «холодной» войны между СССР и Западом, объявленной сэром Уинстоном Черчиллем в его речи, которую тот произнёс в небольшом университетском американском городке Фултоне. 3) Саму же «холодную» войну (а значит, и роль тех двоих, чьи встречи послужили для неё пусковым механизмом) сэр Исая назвал (след за А. А.) «космической».

Почему ахматоведы не обратили (как нам думается) надлежащего внимания на этот эпитет? Не тому ли, что сочли его простой поэтической гиперболой? (Как «наган», как «анафему», как «ровно десять лет» ахматовского хождения по

мукам.) Или их дезориентировала бёрлиновская ироничность – черта агностика или «афея»? Философа? Либерала XX века? Британца? Еврея – питомца народа, склонного, скорее, преуменьшать, чем преувеличивать катастрофизм отдельной человеческой судьбы в жерновах Большой Истории?..

Ортодоксальный традиционалист с непорухенным духовным (а не только бытовым) укладом мог бы сказать, что А. А. различила за «бытом» и «политикой» *метафизическое* значение их встречи. В устах И. Б. такой термин едва ли был бы привычным. Расслышав (мы полагаем) именно этот ахматовский смысл, И. Б. передал его максимально допустимым для себя термином «*космическое*». Но масштаб мышления А. А. он – не будучи поэтоведом! – ошутил адекватно.

Что даёт нам основания так полагать?

Во-первых, сами тексты А. А., – если читать их в большом контексте ахматовской биографии и «вокруг-ахматовской» истории. Во-вторых, уже выявленная ахматовская привычка мыслить «незабвенными датами», непрерывно их сопрягая. Для неё это было необходимо: постоянно держать в поле зрения связь дат, событий, чувств, людей – «из-под развалин» перманентно взрываемого биографического единства, исторической целостности. Тогда-то можно докопаться до металогике «Творца миров» (как сказал бы, наверно, подлинный ахматовский «герой», Пушкин).

1945-й год (и даже год 1946-й) ещё полны упований. Август 1945-го (за 3 месяца до встречи А. А. и И. Б.) – это капитуляция Японии. 02.09.1945 – окончательное завершение Второй мировой войны. А в 1946 году в СССР ещё легально выходит информационный бюллетень «Британский вестник». Легально транслируются по «советскому» радио передачи BBC. Идут на «советских» экранах «трофейные» фильмы. Получает Сталинскую премию за полный перевод «Божественной комедии» Данте друг и соратник А. А. Михаил Леонидович Лозинский...

Зато вот как будут заполняться следующие «ровно десять лет» – интервал между встречами 1945–46 годов и «невстречей» 1956 года.

Юбилеи, праздновать которые НЕ приглашали (после «анафематствующего» Постановления) Ахматову-Горенко. 1949 – не приглашали на 200-летие рождения Гёте (при том, что «Поэма без героя» безусловно перекликается с «Фаустом»). 1964 – не приглашали на 150-летие Т. Г. Шевченко (несмотря на украинские корни А. А., на её учёбу в Первой Киевской гимназии, на её переводы из И. Франко). Тот же год – А. А. не приглашали на аналогичный юбилей М. Ю. Лермонтова. Здесь уместно вспомнить и «мцырические», и «демонические» мотивы у А. А., – или поразительное сходство «портрета украинки» у Лермонтова (стихотворение «На светские цепи...») с психологическим портретом А. А. в «ледяном» контексте репрессивного Ленинграда (поэма «Реквием»).

Декады литературы и искусства «народов СССР», где без опальной А. А. обошлись тоже. Особенно зияет её отсутствие в 1954 году, когда в Киеве проходит декада русской литературы (приуроченная к 300-летию воссоединения Украины и Россией). А. А. не «воссоединили» – ни с Украиной, ни с русской литературой. Не «воссоединится» она и в 1960 году, когда в Москве пройдут «Дни (новая формулировка. – Авт.) украинской литературы».

И, естественно, невозможно представить себе «корейскую» книгу А. А. в обществе книг и пьес лауреатов Ленинской и Государственной премий СССР (то есть недавней Сталинской премии разных степеней), типа «Бури» И. Эренбурга, «Счастья» П. Павленко, «Борьбы без линии фронта» А. Якобсона (1948), «Кавалера Золотой Звезды» С. Бабаевского, «Заговора обречённых» Н. Вирты (1949) и т. д., и т. п.

Что же до биографии семейной, – там скрытых и явных «бездн» было ещё больше. Достаточно назвать лагерную судьбу 1940-х годов у Н. Н. Пунина, мужа А. А., или аресты Л. Н. Гумилёва, её сына. По-прежнему были наглухо отрезаны от А. А. эмигранты первой волны – знакомцы и друзья по Серебряному веку...

Так что иноземец сэр Исаяя угадал её самоощущение верней, чем многие земляки. Да, мифоэпическая фигура. Да, участница «космических» по масштабу сюжетов. Да, ходившая «под наганом», даже если наган этот был метафизическим и невидимым... Можно и нужно уточнять многие детали бытия А. А. эпохи «холодной» войны и «оттепели». Нельзя сужать и обытовлять эти периоды её человеческой и творческой эволюции.

Дальневосточная гипотеза. Фултонская гипотеза, как бы к ней ни относиться, была всё же в известном смысле выдвинута самой Анной Андреевной. Этого нельзя сказать о гипотезе Дальневосточной. Оттого стоит собрать воедино те – вроде бы не очень значительные, разрозненные, не всегда строго-«ахматовские» – реалии, из которых может сложиться именно ахматовский «дальневосточный» контекст.

Зачем он нужен?

Затем, что личность художника, самый тип его мировосприятия едины, с какими бы реалиями этот художник ни работал. Перед нами уже вставал вопрос: отчего в лирическом фрагменте А. А., посвящённом одному из горчайших эпизодов её биографии, возникла далёкая литовская реалья? Да ещё в «старомодной» огласовке «Либава», вместо современного «Лиенае»?

Ответ на этот вопрос увёл нас (см. : [6]) в эпоху Первой мировой войны. Вывел на авансцену фигуры людей, чрезвычайно близких А. А., – Н. С. Гумилёва и М. Л. Лозинского. Навёл на скрытые связи этого фрагмента с ахматовским стихотворным письмом вдове-солдатке – «Утешением».

Но ведь рядом с «Либавой» в том же фрагменте стояла другая реалья, другой топоним – «Владивосток» («От Либавы до Владивостока ...»)? Также по видимости «нелогичный» и для А. А. «чужой»?

Следовательно, есть резон предположить обратное. Не могла А. А. поставить в один ряд два имени, никак друг с другом не связанные. Или связанные лишь одной целью: назвать зону действия «анафемы» – от одного, восточного «конца» советских «владений» (перефразируя А. С. Пушкина) до другого «конца», западного.

То есть важна и эта цель. Существенна эта закрепившаяся в обыденном сознании *мифопоэтическая система координат*. «От потрясённого Кремля / До стен недвижимого Китая...» – напишет тот же классик русской поэзии. «От Москвы до самых до окраин, / С южных гор до северных морей...» – подхватит советская песня («Широка страна моя родная...»). Так что «от Либавы до Владивостока» – это реплика, почерпнутая из патриотического мифопоэтического дискурса, но попавшая в дискурс трагико-исторический.

Переводя на общепонятный язык того времени, это означает два утверждения. Первое: проклятие («анафема»), посланное в адрес А. А., 1946-м годом не закончилось. Уже без малого полтора десятилетия оно продолжает лететь над огромной (и родной!) страной «от края до края», от моря до моря, от восхода солнца до заката. И второе утверждение: патриотом этого пространства мог считать себя только тот, для кого «грозная анафема» была действительно проклятием, а не просто глупым чиновничьим документом (и тем паче не сорвавшимся на голову А. А. плодом московско-ленинградских функционерских интриг). Для кого страна, над которой (подобно бесам у того же Пушкина) продолжает кружить это проклятие, остаётся огромной (и родной!).

Однако и этим «дальневосточный» аспект биографии А. А. не ограничивается.

Начало дальневосточных интересов для «серебряного» поколения А. А. уходит вглубь – дальше, чем даже русско-японская война 1904–1905 годов. После так называемой «революции Мэйдзи» (1868–1889) Япония, наглухо закрытая до толе для всех иностранцев, хотя бы частично открылась. Европейские торговцы

устремилась на новые рынки; в России и в Западной Европе замелькали японские изделия из лака и фарфора (или подделки под них). Вошли в моду (и в западно-европейские словари) кимоно и сакура; на сценах появились японские рыцари самураи (с их ритуальным самоубийством харакири) и обворожительные гейши. Опера «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-Сан») родится на волне того же увлечения. В чеховском рассказе 1899 года «Дама с собачкой» в курортной Ялте уже открыт «японский магазин», и главная героиня покупает там духи. Во Франции А. де Тулуз-Лотрек оформляет афишу «японского» эстрадного ревю (1892). В России сочный колорист-этнограф К. Коровин будет в 1898 году писать типично российскую дачу, летние сумерки – и японские фонарики на веранде, где, очевидно, скоро начнут пить из самовара бесконечный вечерний русский чай...

Женские портреты Серебряного века также отражают эту новую моду. Длинные булавки-спицы подкалывают дамские волосы в «японский» узел на портретах В. Серова, З. Серебряковой – и на множестве изображений молодой Анны Ахматовой-Горенко. Привычка А. А. накидывать на дарёные (и нередко рваные) шёлковые халаты старую, но всё ещё величавую шаль, – это, быть может, знак верности А. А. давнишним кимоно её молодости...

Европа подпадёт под обаяние хокку и танка. Эти старинные формы японской поэзии (хокку формировались в XVI–XVII столетиях, танка ещё раньше, в VIII–X веках) окажутся близки поэтическому модерну рубежа XIX–XX веков и на Западе, и в России. До сих пор удивляет, как перекликаются внешне простая, внутренне сложная, всегда со «вторым дном» непрямого смысла, говорящая больше ассоциациями, чем декларациями, – лирика Ахматовой-Горенко и стихи кого-нибудь из почти пятисот авторов первой поэтической антологии Японии «Манъёсю» (759 года н. э.).

Таков «дальневосточный» историко-культурный контекст, в котором жила и творила А. А. Но был и контекст историко-политический, также со своим «дальневосточным» акцентом.

Песня о крейсере «Варяг» и вальс «Амурские волны» стали явлением настолько массовой российской культуры начала XX века, что не могли миновать художественного сознания А. А. На Алтае, в Барнауле, существовал район пригородных лачуг под экзотическим именем «Порт-Артур». (Был и другой район, именовавшийся «Сахалином»). Матросы и солдаты-инвалиды русско-японской войны расселялись по всей стране (как растеклись по ней бывшие каторжане).

В 1927 году почти на полгода генеральным комиссаром художественной выставки уедет в Японию муж А. А. – искусствовед Н. Н. Пунин. В экспозиции будет показан её известный портрет работы К. С. Петрова-Водкина, имевший, как и творчество Ахматовой, отклик в культурной среде Страны восходящего солнца. В своём письме из Токио от 28 июня Н. Н. Пунин объяснит жене, что данное ей в своё время В. К. Шилейко имя-прозвище Акума по-японски означает «злой демон, дьяволица» [15, с. 241]. Потом трактовки этого имени, прилипшего к А. А. на всю жизнь, будут только множиться.

Младшие современники А. А. помнили, что знаменитую «Катюшу» М. Исаковского и М. Блантера впервые запели не на фронтах 1941–1945 годов, а осенью 1938 года (!). Стало быть, «песенка девичья», летящая «туда, где солнца свет», – летела прямо на Дальний Восток. Где и служил «боец на дальнем пограничье». А дети этих младших современников читали совсем малыми ребятами в «Круглом годе», альманахе-ежегоднике для младшеклассников, «Легенду о седой девушке», навеянную Корейской войной 1950–1953 годов. (Она же, для северных корейцев, «Отечественная Освободительная война»).

Между тем, эта историческая веха имеет к А. А. уже самое непосредственное отношение. Отнюдь не случайно литература (в том числе поэзия) Дальнего Востока начинает так активно переводиться на русский язык и издаваться в СССР

именно с середины 1930-х и до середины 1950-х. Первая русскоязычная антология «Современная корейская поэзия» выйдет (в обгон антологии классической) в Москве в 1950 году. Издание первой (зато 4-томной) антологии китайской поэзии завершится в 1958 году. Первая японская поэтическая антология будет издана в 1956-м. Но «Японская революционная литература» – в 1934 году.

Та книга ахматовских переводов из классической корейской поэзии, о которой скажет по телефону сэру Исайе Бёрлину Анна Андреевна, – это уже второе, дополненное издание. Оно появится в 1957 году. В 1959-м А. А. напишет стихи об «анафеме» и упомянет в них «Владивосток».

Но и год 1945-й – время первой встречи А. А. с И. Б. – также связан с Дальним Востоком и его «военной столицей» Владивостоком. 1945-й – год возвращений. После окончания Второй мировой войны (в мае – с нацистской Германией, в сентябре – с Японией) начнут возвращаться солдаты – с фронтов, эвакуированные – из зауральского тыла; пойдут пачками запросы об угнанных в Германию на принудработы, о пропавших без вести, о разбомбленных по пути в эвакуацию, – да просто о родных и близких, кого разметала война. Вспыхнет надежда на возвращение репрессированных, на «исправление ошибок», на чудо...

Среди этого шквала сбывшихся и несбывшихся надежд нельзя себе представить, чтобы А. А. не вспомнила своих не вернувшихся, своих исчезнувших – даже без известия о месте захоронения. Владивосток – это память, с одной стороны, о младшем брате Анны Андреевны – Викторе Горенко. Мичман Черноморского флота, покинувший Севастополь в ночь перед началом массовых расправ с офицерами, после долгой дороги прибывает в тихоокеанскую столицу России в марте 1918 года. В. А. Горенко оставит Владивосток с приходом красных в 1922 году, перебравшись сначала на Сахалин, а потом (на пороге прихода красных теперь уже на остров) через Китай в США. Кстати, через Владивосток покидали страну во время Гражданской войны многие представители творческой интеллигенции из окружения А. А.

С другой стороны, этот город – память об О. Э. Мандельштаме. Последним его земным пристанищем сделался один из пригородов Владивостока – станция Вторая речка, где содержали осуждённых в ожидании дальнейшей отправки и где недождавшихся этой отправки хоронили. Горькая ирония судьбы: потом в этих бараках долгое время размещалась городская психиатрическая лечебница.

Таких мандельштамовских «реалий» А. А. знать не могла. Но то, что следы осуждённого поэта уводят далеко на Восток, – это она могла знать (хотя бы через жену О. Э.). А главное – это была уже третья пропавшая без вести родная могила (после Н. С. Гумилёва и Н. В. Недробово). Двух первых поглотила бесследно Гражданская война. Не могла ли А. А. – именно после войны Отечественной, в трагико-оптимистической атмосфере 1945-го – попытаться отыскать хотя бы третий след? А если да, с кем же уместнее было бы поговорить на эту тему, как не с представителем союзнической Великобритании И. Бёрлиным? Тесно общавшимся с «тамошними», эмигрировавшими сверстниками и знакомцами и молодой Ахматовой, и молодого Мандельштама?..

Так протягиваются новые – пока не доказанные, но достойные проверки – ниточки к дальневосточному кругу ассоциаций нашего поэта.

Наконец, не следует забывать, на каком актуально-историческом фоне проходила «незабвенная» встреча-1945.

Акт подписания капитуляции Японией был чрезвычайно важным политическим событием для США. Военное участие Штатов во Второй мировой войне было не соизмеримо с участием Советского Союза, а дипломатическая роль – с ролью, положим, Великобритании. (Чем мы несколько не преуменьшаем значения высадки американцев в Нормандии, – или шире, открытия Второго фронта, – или, ещё ранее, значение американского ленд-лиза.) И всё же завершение Второй

мировой войны на дальневосточных – сухопутных и морских – направлениях США постарались превратить в свой апофеоз.

СССР (и лично Сталин) к осени 1945 года был уже сильно раздосадован и этими попытками, и – до того – сепаратными переговорами отдельных представителей США с военно-политической верхушкой Третьего рейха. Могла ли наблюдательная и пронизательная А. А. не заметить перемену тональности в газетной хронике ТАСС о капитуляции Японии? Могла ли не ощутить, что «встреча на Эльбе», один из основных источников советских упований не только на «миру мир», но и на новый мир внутри самого Союза, – что эта встреча начинает выхолащиваться и использоваться совсем с другими политическими целями?

«Либава» по-ахматовски – это не мирный рыбацкий порт Литовской ССР, это эпицентр кровавых сражений Первой мировой войны. Что же тогда «Владивосток» по-ахматовски, поставленный бок о бок с «Либавой»? Только ли столица Дальнего Востока? Только ли закрытый тихоокеанский военный город-порт? (Тогда на другом конце СССР ему бы соответствовала не Либава, а, скорее, Кронштадт или Севастополь.) Или это также эпицентр, но уже других событий? Завершающих одну войну, «горячую», и открывающих (пока подспудно) другую войну – «холодную»? Войну, которая на долгие годы наглухо «задраит», говоря по-морскому, стальные двери в жизни как самой А. А., так и Европы и всего мира.

Не о том ли могли, в числе иных тем, беседовать философ и историк из Великобритании Исайя Бёрлин и «трагическая королева» страны победителей и репрессантов – Анна Андреевна Ахматова-Горенко?

Вместо заключения. Проведённый анализ (пока ещё предварительный, исходящий подчас не из готовых теорий, а из гипотез) позволяет, тем не менее, прийти к некоторым выводам.

1. В картине мира А. А. Ахматовой-Горенко равноценны для автора и равнодейственны для текста два подхода, обычно считающиеся не совместимыми. Это подход исторический, почти документальный, – и подход мифопоэтический, «космический», метафизический.

2. Первый подход зиждется на точных датах, именах и событиях, на бытовых и психологических реалиях. Благодаря ему А. А. сумела создать из малых текстов (и даже из их фрагментов) «лирический эпос» XX столетия.

3. Второй подход превращает ахматовские реалии в символы, а ключевые исторические мотивы – в мифологические сюжеты. Он также сослужил поэту службу, возведя её эпос на уровень мифа или мистерии. При этом (подчеркнём) ни первый подход не отменял второго, ни второй первого.

4. Отсюда проистекает двойственное впечатление, какое производит поэзия А. А. на читателей XX, а теперь уже и XXI веков. С одной стороны, она заморозила (и продолжает замораживать) своей искренностью, правдой – от интимной «правды для двоих» до вселенской правды перед лицом Мироздания и Бога.

5. С другой стороны, та же поэзия вызывала (и, по-видимому, будет и дальше вызывать) сомнения в авторской достоверности. Будет провоцировать прямые или полускрытые обвинения в личном мифотворчестве, в превращении живой жизни (и живой истории) в костюмированный «бал ста королей» и одной королевы.

В предлагаемой работе отстаивается иная позиция. Авторы исходят из убеждения в том, что мифопоэтизм, мистериальность, профетизм, глобальность переживаний и оценок суть нормальные свойства нормальных творцов-гениев, – то есть тех, кто творит на порубежье между текстопорождением и жизнестроительством.

На материале ахматовских текстов, не привлекавших доньше особого внимания исследователей, авторы попытались обнаружить и/или реконструировать эти ахматовские масштабы. Те, что поставили её в ряд нормальных гениев, – людей (как сказал Бен Джонсон о Шекспире) «не только своего времени», но и «на все времена».

Библиографические ссылки

1. *Ахматова А. А.* Собрание сочинений : в 6-ти т. / А. Ахматова. – М. : Эллис Лак, 1998–2002; Т. 7 (дополнительный). – 2004.
2. *Казарин В. П.* «Не бойся; подойди...»: (Установлена и документирована дата смерти Н. В. Недоброво) / В. П. Казарин, М. А. Новикова // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. – Вып. 11. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2013. – С. 178–188.
3. *Казарин В. П.* Стихотворение А. А. Ахматовой «Вижу выцветший флаг над таможенной...»: (Опыт реального и поэтологического комментария) / В. П. Казарин, М. А. Новикова // Література в контексті культури : зб. наук. праць. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 25. – С. 55–72.
4. *Казарин В. П.* Ахматова. Данте. Крым: (К постановке проблемы) / В. П. Казарин, М. А. Новикова // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. – Х., 2015. – Вип. 73. – С. 276–284.
5. *Казарин В. П.* Ахматова. Данте. Крым: (Статья 2) / В. П. Казарин, М. А. Новикова // Східнослов'янська філологія : зб. наук. праць. – Артемівськ : ГПМ ДВНЗ, 2015. – Вип. 28. – С. 31–46.
6. *Казарин В. П.* «...Грозная анафема гудит»: (Загадки одного ахматовского восьмистишия) / В. П. Казарин, М. А. Новикова // Сайт «Анна Ахматова: “Ты выдумал меня...”» (akhmatova.org). – СПб. : 08.05.2016.
7. *Копылов Л.* «И это было так»: Анна Ахматова и Исайя Берлин / Л. Копылов, Т. Позднякова, Н. Попова. – СПб. : Драйв, 2009. – 119 с., ил.
8. *Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой. 1952–1962 / Л. К. Чуковская. – Т. II. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Согласие, 1997. – 832 с., ил.
9. *Жук А. Б.* Справочник по стрелковому оружию: Революеры, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулемёты, автоматы / А. Б. Жук. – М. : Воениздат, 1993. – 735 с., ил.
10. Русско-английский словарь / сост. О. С. Ахманова, З. С. Выготская, Т. П. Горбунова; под общ. рук. А. И. Смирницкого. – Изд. 12-е, стереотип. – М. : Русский язык, 1981. – 766 с.
11. Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лёхина и Ф. Н. Петрова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Гос. Изд-во иностр. и нац. словарей, 1949. – 805 с.
12. Англо-русский словарь / сост. В. К. Мюллер. – Изд. 9-е, испр. и доп. – М. : Сов. энцикл., 1962.
13. Б. а. [Якубович Д. П.] [Рец. на сб. А. Ахматовой «Белая стая».] / Д. П. Якубович // Русское богатство. – 1918. – № 1-2-3. – С. 303. Цит. по: Тименчик Р. Д. Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой / Р. Д. Тименчик // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 9. – Симферополь : Крымский Архив, 2011. – С. 109–145.
14. *Кихней Л. Г.* Дантовский код в поэзии Анны Ахматовой / Л. Г. Кихней // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 8. – Симферополь : Крымский Архив, 2010. – С. 114–127.
15. *Черных В. А.* Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой: 1889–1966. – Изд. 2-е, испр. и доп. / В. А. Черных. – М. : Идрик, 2008. – 768 с., ил.
16. «Я незаслуженно получил бессмертие в её поэзии»: (Из переписки Исайи Бёрлина) // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 7. – Симферополь : Крымский Архив, 2009. – С. 3–30.

Надійшла до редколегії 15.04.2017 р.